



- Валерий Бочков.** Брайтон-блюз. *Рассказ*
- Михаил Бару.** Пролетая мимо Персеид. *Миниатюры*
- Павел Пономарев.** Пыль. *Рассказ*
- Анна Билоус.** Джаз-Львов-Ванкувер-джаз. *Повесть*
- Свава Якобсдоттир.** Отдавать друг другу...
Рассказ. Перевод с исландского Натальи Демидовой
- Андрей Белевский.** Прокурор Кулагина. *Рассказ*
- Михаил Книжник.** Отгул (Иерусалимский рассказ).
Рассказ
- Ольга Фатеева.** Родительский дом. *Рассказ*
- Виталий Науменко.** Блю. *Короткая повесть*
- Хамид Исмайлов.** Каменный гость.
Рассказ. Перевод с узбекского Вадима Муратханова

Валерий Бочков

БРАЙТОН - БЛЮЗ

Агнесса Васильевна, крупная, костистая старуха с готическим затылком и тугим пучком на макушке, сошла с ума.

Шестьдесят семь — неуклюжая цифра, никакой тебе гармонии. Не то что, к примеру, шестьдесят шесть или шестьдесят девять. Даже шестьдесят три, на худой конец. Эти — благородно симметричные, похожи на билибинский орнамент, радуют глаз округлостью форм и изящной приветливостью тягучих линий — чисто узоры.

Агнессе Васильевне стукнуло шестьдесят семь всего месяц назад, в сентябре. Хотя, если честно, после того как она сошла с ума, возраст (как и прочие условные нелепости) перестал иметь какое бы то ни было значение. В категорию нелепостей попало почти все, что называют неясным словом «жизнь». Почти — потому что вчера еще оставалась одна зацепка, один, последний повод для беспокойства и переживания, единственная нить от нее к реальности. Сегодня порвалась и эта нить.

1

Агнесса Васильевна с неспешной педантичностью перетягивала бечевкой коробку из-под ботинок. Обмотала еще раз вдоль, перекрестье в центре, после — поперек. Прижав сухим пальцем узел, ловко смастерила бантик, расправила петельки. Чикнула ножницами лишние концы, строго оценила взглядом — порядок.

«Вот и порядок, — именно так и подумала Агнесса Васильевна, — ну вот и все».

Поежилась, вздохнула. Погладила глянцевый бок черной коробки — удачный цвет, вот ведь совпало как, подумала с рассеянной умильностью, да, действительно удачно. Мыслей особых

не было, было ощущение безнаказанности и свободы. Она накинула шерстяной платок мрачных тонов с кистями, мимоходом показав остренький язык мутному зеркалу в прихожей, прихватила палку и, бережно прижав коробку, пошла вниз на улицу.

2

День брызнул ослепительным светом, засиял разноцветным мусором мостовой: битое стекло и смятые жестянки из-под пива, пестрые фантики. Жмурясь и моргая, тут же оступилась сослепу. Грубо, по-мужски, ругнувшись вполголоса, Агнесса Васильевна подобралась и уверенно зашагала в сторону набережной. В сторону конца света.

Это и вправду был конец света. Не в смысле Апокалипсиса, нет, в географическом смысле. Край земли, конец суши, материка. Дальше, если конечно верить картам, на целое полушарие простиралась вода — Атлантический океан. Потом, где-то там, в немыслимо туманной дали, океан якобы утыкался в Европу. Но это лишь в том случае, если карты не врут. У Агнессы Васильевны недавно появились серьезные сомнения на их счет, но это тоже, скорее всего, не так важно. А что же важно? Ну, для начала, хотя бы сегодняшняя зыбкость горизонтальных поверхностей, просто-таки возмутительная неустойчивость! — для нее, как для бывшего преподавателя начертательной геометрии, это было почти личным оскорблением. Эпюр лимона, ортогональная проекция облака, фронтганальное сечение коробки из-под ботинок — сплошная аксонометрия! Да, испорченная голова валяла дурака, играла с Агнессой Васильевной в прятки — кто не ш-шпрятался, я не виноват, — шепеляво гундело в затылочной части испорченной головы и нежно позвякивало бубенцами. В то же самое время деревянный настил набережной норовил коварно качнуться и втихаря уплыть вбок.

— Ну-ну, — усмехалась Агнесса Васильевна, — знаю я ваши уловки, ну-ну... — И уверенно шагала параллельно океану, отбивая ритм палкой и инквизиторскими каблуками своих допотопных ботинок. Ботинкам этим было невозможное количество лет — шутка ли — прошлое тысячелетие! — они прибыли вместе с Агнессой Васильевной двадцать лет назад из почти мифической

страны, чуть ли не Атлантиды (этой страны, кстати, тоже теперь нет на карте), и были приобретены через каких-то покойных ныне знакомых, приобретены с забавными хитростями, подробности коих забыты и утрачены теперь уже окончательно. Хотя, это, впрочем, неважно совсем.

3

Набережная широкая, прохожих — раз-два и обчелся, да и те плетутся едва передвигая ноги. Низкое солнце бесцеремонно режет глаза — чего уж теперь — все, лето отгуляли, на носу зима. Тощие, длинные тени черны, как креп. «А что это — креп?» — мерно тукают каблуки, тут же острой синкопой вплетается клюка, усложняя ритмический рисунок. Агнесса Васильевна, улыбаясь, перемещается по набережной параллельно океану: слева пустынный пляж — скука и мусор, дальше вода и мутный прибой, еще дальше — стертый горизонт, нет, Европы не видеть.

Справа и вовсе тоска — унылые рестораны в тени навесов, кокетливые скатерти невозможных цветов, стайка сонно курящих официанток — белый верх, черный низ. Красный рот. Неожиданно для самой себя Агнесса Васильевна круто свернула и уселась за крайний столик. Резкая тень пролегла точно по диагонали ядовито-лимонной скатерти. Агнесса Васильевна поставила коробку в тень, откинула голову и зажмурилась.

— Покушать? — экономно поинтересовалась официантка с профессиональным безразличием.

— М-да-а, — задумчиво прошептала Агнесса Васильевна не разжимая губ, — да. — А после громко: — И водки! — «Чего это я?» — испугом дернулась в мозгу мелкая мысль, слабая, явно из прошлой жизни. Сегодняшняя Агнесса Васильевна строго добавила: — Графин! — И на всякий случай стукнула палкой в пол.

Официантка Черный-верх-белый-низ вздрогнула и, взяв старуху в фокус старательно отретушированных глаз, выдохнула интимным контральто:

— Грамм сто — сто пятьдесят?

— Сто? Да, сто пятьдесят. Для начала. Да. И сарделек! Сардельки есть?

Агнесса Васильевна щурясь прямо в нахальное солнце — ему тоже было нечего терять, — опустила ладонь на скатерть и осторожно вползла рукой в тень, коснулась пальцами коробки, провела ногтем по бечевке вверх, тронула безукоризненный бантик узла. Усмехнулась уголком тонких губ:

— И как это вся твоя жизнь уместилась в картонку из-под ботинок, а? Те проворные мысли, те сладкие слезы счастья? Мечты?

Она выпила рюмку водки задумчиво, мелкими глотками, как микстуру.

— Как же это все нелепо, вот ведь недоразумение, — прошептала она, — и как же это все нелепо сложилось... И что я такое? Я — просто древний ископаемый ящер, господи...

Агнесса Васильевна, древняя, как ископаемый ящер, сильно зажмурилась: неожиданно остро ощутив шершавость плотной бумаги в детской руке, восторг ажурной вязи слова «приглашение», красиво нарисованный кремль с красной звездой в ночи, дед мороз и тисненные золотом цифры 1955. Прошлый век. Но как же живо ощущение этой шершавой бумаги, живо в пальцах, живо в душе! Я и говорю — словно вчера... И вот уже ползет из утренней кухни и растекается по сонным комнатам дух запеченного гуся, наливающегося сочной антоновкой. Новый год... Какой? А ведь шутка ли, только представить — никто тогда не знал, кто такой Гагарин и где притаился некий населенный пункт Чернобыль — как забавно? — Агнесса Васильевна даже улыбнулась. Из небытия долетел всхлип пионерской трубы и мерное уханье умирающего марша, дальнее эхо донесло «.ить, учиться, бороться как завеща...», а после — все, конец, и лишь бегущие пятна солнечных бликов и лишкая горечь отчаянно зеленых тополей апрельского Лэфортова, Немецкое кладбище над Яузой, да исцелованные до немоты губы... Нет, погоди, что-то еще, что-то в зеркале, может, глаза, чуть раскосые — по лисьи, зеленоватые, когда злилась, теплая шелковистость шеи и наглая вера в личное бессмертие. Как полуденный сон на летней веранде, пленительно томный и сладкий до муки.

Как же ускользнуло все? И куда... Агнесса Васильевна с сердечной истомой выплыла оттуда, из небытия, вяло подалась вперед, вытянув по скатерти руки пустыми ладонями к небу, вздохнула:

— Вот ведь недоразумение.

Сардельки оказались восхитительными, чуть подкопченные — с дымком, сочно трескались весело брызжа во все стороны под ножом и вилкой. Они тоже явно получали неслыханное удовольствие от участия в обеде. Агнесе Васильевне жутко хотелось оставить церемонии и впиться в сардельки зубами, да так, чтоб горячий сок тек по подбородку и кистям рук, щекотно забираясь под манжеты и дальше до самых локтей. Но она продолжала кром-сать их тупым мельхиором, усердно макала в злющую, до слез, горчицу, заедая тушеной капустой и черным хлебом.

Захмелев с непривычки быстро и основательно, Агнесса Васильевна разомлела, блаженно подставив улыбающееся лицо теплым лучам. От водки бубенцы в голове оживились и теперь позванивали задорно и переливчато — как те лефортовские трамваи, что резво скользили тогда вдоль Яузы — вот ведь веселый транспорт — ухочешься! Она вспомнила, как однажды перед окнами ее кабинета (кабинет № 17 — «Черчение и начертательная геометрия», — но это неважно, особенно номер), новенький, яркий как желток трамвай переехал какого-то бедолагу, пьянчужку, — «зарезал», как уточнил усатый майор-артиллерист из толпы, разглядывая стоптанный ботинок рядом с рельсом. Именно зарезал — очень верно подмечено. Разумеется, студенты тут же загалдели и сорвались, высыпали на улицу. Вышла и она.

Была ранняя весна, один из этих пронзительных мартовских дней с нервно летящими облаками, когда вокруг так беспокойно и светло от журчания и искристого сиянья остатков тающего снега. Плюс воздух — безошибочно весенний, насквозь прошит птичьим щебетом и стеклянными лучами, и было совершенно не постижимо, как это можно умереть в такой восхитительный день, да еще таким нелепым манером. А вот сейчас в хмельной истоме Агнесе Васильевне вдруг подумалось, что умирать лучше всего именно вот в такой день — звонкий и веселый. Как тот далекий мартовский. Или как сегодняшней — октябрьский.

По гипотенузе от нее под лавкой, в полосатой фиолетовой тени дремал пегий пес, накрыв мохнатую морду лапой. Агнесса Васильевна умилилась — под старость она стала так сентиментальна, что запросто могла пустить слезу от любой чепухи. Вот и сейчас

в этом собачьем жесте ей почудилось что-то щемящее, стариковское, человеческое, столь созвучное ее собственной душевной тоске, с этим проклятым бездонным одиночеством, от которого и жить-то уже не хочется. Она заморгала влажными, сразу же покрасневшими глазами, слепая и вялая, выцедила остатки водки в рюмку, вздохнула и вышла.

6

Пегий пес на самом деле не спал, даже не дремал. Из-под лапы он с интересом наблюдал за странной старухой с черной коробкой из-под ботинок. Еще у старухи была палка, трость с костяным набалдашником. А за палками — пегий это знал по опыту, — за палками нужен глаз да глаз. Человек с палкой это тебе не человек без палки, совсем уже другой зверь. Кстати, палка (Агнесса Васильевна презрительно называла ее — клюка) на самом деле была изящной тростью с гладким костяным набалдашником, пожелтевшим от времени, прохладным и приятным на ощупь. Куплена была за сущие гроши на каком-то развале, Агнесса Васильевна, как и большинство старух, обожала рыться в бесполезном антикварном хламе. А позже открылась главная тайна «клюки» — внутри трости прятался кинжал, острый, как жало, узкий стальной клинок. У основания ручки была едва заметная кнопка, замыкавшая трость. А так — палка и палка, ничего особенного.

Хотя именно эта вот старуха, даже с палкой, угрозы не представляла ни малейшей — это пегий пес нутром чуял. Напротив, от нее тянуло тоскливым одиночеством, горем и смертью. Еще — пес был почти уверен — в коробке у старухи была кошка, уж этот запах ни с чем не спутаешь. Пегий был прав — Зигфрид или просто Зиги, как Агнесса Васильевна его обычно называла, умер вчера под вечер. Умер, можно сказать, от старости — почти девятнадцать лет, возраст для котов нешуточный. Печень была ни к черту, да и камни в почках, а причиной смерти стал банальный инфаркт. На ветеринаров у нее денег не было, и она уже несколько месяцев готовила себя к этому проклятому дню, повторяя как мантру: это кот, всего-навсего кот, кот и ничего больше. Ей даже показалось, что удалось-таки себя убедить.

У Когана, лысоватого мелкого мужичка, таких непременно дразнят в школе коротким и метким словом «шкет», настроение было отменное. Шикарное.

Прямо с утра ему удалось провернуть лотерейку, его собственное изобретение, ничего мудреного, но работает безотказно. Старичье нелепо суетилось, выигрывая копеечные призы, ставки-приманки; они толкались, отчаянно ругались и спорили, на какой номер ставить — и откуда у пенсионеров такая страсть к азартным играм? А когда через час санитар позвал их на обед и дуралеи с пустыми карманами побрели в свой приют, Коган, пересчитывая потные от чужих ладоней купюры, уже сворачивал свое казино-шапито, другие посетители парка его не интересовали. Адрес дома престарелых и день выплаты пенсии — для толкового человека это почище, чем Эльдorado. Час работы на свежем воздухе, и полтыщи в кармане, а вы говорите — Клондайк!

Удивительно, но Коган был русским, чистокровным уральским русаком, ну, может, чуть с татарщиной, как же без этого и поэтому, когда заявлял, что еврейство не национальность, а состояние мятежной души, определенно знал, о чем толкует.

Выехав по подложным документам и помыкавшись сперва в Ганновере — тогда немцы с неожиданным, но кратким радушием принимали русских евреев, — после, к собственному удивлению, очутился в Хайфе — тамошний климат уж очень хорош (тем более, по сравнению с родным Челябинском — лучше и не вспоминать, дрянь, а не погода), отпустил кучерявую рыжую бороду лопатой. Однако уже через несколько лет, разочаровавшись в идеях пансионизма и его влиянии на парламентаризм, а главное, из-за угрозы неотвратимо надвигающегося конфликта с местным уголовным кодексом, плюнув на все и чисто выбрившись, перебрался через Атлантику.

Здесь климат, это, конечно, не средиземноморье, но уж и не Челябинск, слава тебе господи. Короче, жить можно. Особенно если знаешь как. А уж насчет «как» Коган был безусловным экспертом. Ну вот, к примеру, работа. К работе, как средству добывания денег, Коган относился с презрительным превосходством поэта-романтика, хотя ни поэтом, ни тем более романтиком

никогда не являлся. Он обладал удивительным свойством, почти сверхъестественным даром выжимать деньги из всевозможных организаций, фондов и комитетов содействия, помощи и спасения. Причем, как правило, из нескольких одновременно. Исполнял он это с безукоризненностью виртуоза и усердием медицинской пиэвки. Еще Коган был совершенно уверен, что, как никто другой, умеет наслаждаться жизнью, умение это, отточенное с годами и доведенное до абсолюта к зрелой поре тихой старости, заменило ему убеждения и принципы и стало его нерушимым кредо. Вот и сейчас, когда по тускнеющему небу уже начали показывать не бог весть какой закат, неброский, пыльный — все больше в лимонных тонах, Коган туманно улыбался и шурился, причмокивая, ловил на небе приятную горечь только что выпитого пива, своего пятичасового, предвечернего, с жареным солоноватым миндалем вприкуску, точнее — впригрызку. Ленивой, чуть развинченной (ему казалось — изящной) походкой, он спустился с дощатого настила набережной на пляж и направился в сторону океана.

Песок был как соль, мелкий, грязновато-белый и лез в ботинки. Когана это не беспокоило вовсе, он с интересом рассматривал мусор, вынесенный океаном. Остановился понаблюдать, как суетливая пара чаек, на редкость неприятных вблизи птиц, вмиг растерзала замешкавшегося в полосе прибоа краба.

— Чисто сработано! — усмехнулся Коган, запустив в нервных чаек смятой жестянкой. — Не зевай, морепродукт!

Посмеиваясь, побрел дальше.

Выбеленные, словно обсосанные палки, похожие на доисторические инструменты неясного назначения, пластиковые бутылки разного калибра, вонючие спутанные водоросли, еще влажные и темные, как косы утопленниц, — эту гадость Коган брезгливо обходил. Зато со смачным хрустом припечатывал к мокрому тугому песку мидий и мелких улиток. Еще попалась одинокая туфля, замечательно гладкий камень с голубиное яйцо, черный с белым пояском, потом футляр от очков. Коган покрутил его в руках и выкинул в воду. Чуть дальше, метрах в двадцати по берегу, на самой кромке темного сырого песка стояла старуха. Ее нелепо мордчатые башмаки на квадратных каблуках время от времени захлестывало мелкой волной, пена суетливо шипел, как газировка, и стремительно убегала обратно. Старуха не обращала на это внимания

и пристально вглядывалась вдаль. Коган тоже посмотрел, но там не было ничего кроме воды и чуть порозовевшего неба с обрывками вялых облаков.

«Чеканутая,— решил Коган, разглядывая старуху,— как есть, мозг набекрень».

Вспомнилось вдруг, как пацаном возили его к бабке, там была Катька-дурочка, у которой дочь умерла, так она ее выкопала и в сарае за огородами спрятала, нарядила, в косы ленты вплела, венок из васильков. Всей деревней после смотреть ходили, когда психовозка из района прикатила. Коган поморщился, сплюнул: «И чего дрянь всякая в голову лезет, вот ведь гнусь, прости господи». Он остановился — замер на полушаге, улыбнувшись, театрально кашлянул и произнес неожиданным фальцетом:

— Здрассе!

Старуха вздрогнула, повернула белое лицо.

«Точно — шиза! Во глазища-то бешеные, — весело подумал Коган, — ох, и везет же мне сегодня на старичье — сами на крючок насаживаются. Щас и эту вмиг отутюжим», — а сам тут же зачистил ласковой скороговоркой:

— Прогуливаюсь, видите ли, вечерний, так сказать, моцион, врачи советуют, да я и сам как-никак... э-э-э... доктор. Да-с! Психотерапевт. Вот ведь как. — Запнувшись на миг от неудержимости собственного вранья, он снова откашлялся и мотнув головой сказал: — Сперанский. Доктор... Иван ...э-э... Моисеич. — И, кокетливо шаркнув по песку, добавил: — Честь имею, так сказать. Если можно так выразиться.

8

Старуха молча глядела на него.

«Может, буйная? Еще укусит. Чего у нее там в коробке-то?» — быстрые мысли сновали в голове у Когана.

— Обувь приобрели, я вижу? — кивнув на коробку. — Дело хорошее, тем более распродажа. Я и сам уважаю — это ж какая экономия! До пятидесяти процентов! — Коган взмахнул рукой.

Глупые чайки, рассчитывая на поживу, метнулись к нему, ужасно галдя и хлопая розовыми от заката крыльями.

«Как слабая марганцовка, — подумала Агнесса Васильевна совсем не к месту. — Розовые». Она внезапно увидела все происходящее отчетливей, резче, словно пыльное окно протерли. Крикливые птицы, забавный коротышка — он сказал, что доктор? — а сама птицам кричит «кыш!» — разве ж птицам кричат «кыш»?

Серый песок пляжа, разноцветные пятна ресторанных зонтиков по набережной, залитый сиреневым мраком силуэт домов и хилых деревьев, а за всей этой нелепостью — небо. Глубокое и бескрайнее — вот куда надо. Красно-оранжевый выдох его — как округлая басовая нота: звук уже умер, а эхо бесконечно перекатывается, ворча и жалуясь.

— А я ноги вконец промочила, — рассеянно улыбаясь, проговорила Агнесса Васильевна, — насквозь. Вот ведь незадача. А в корбке, — она погладила крышку, — там не обувь.

Ей, в общем-то, было наплевать на промокшие ноги, причем тут ноги — она с удивлением ощутила странное желание, почти непреодолимую страсть высказаться напоследок, рассказать этому нелепому доктору про свою бессмысленную жизнь, про Зиги, о том, как звенят веселые трамваи над Яузой, разрезая пополам зазевавшихся прохожих. Что еще?

— ...самой себе доказывать тысячу раз, я и ехать-то не хотела. Уговорил, уломал, уволок! — я ж никакая и не еврейка даже, смешно сказать: дед — немец, Краузе фамилия, а тут сплошной шолом. А ведь я вузовский преподаватель — ну да, а вы как думали, — начертательная геометрия, а здесь сажу на пособия, как нищая, — нелепость какая! Живу на Третьем Лучевом, дыра жуткая, и соседи шашлыки на балконе жарят — вонь вся ко мне, просто Зугдиди, честное слово, дикари, но зато с кухни кусочек океана видно — промеж домов, а так — кирпичные стенки, сплошной кирпич, и ведь это каждый день! Вот я и спрашиваю — какой в этом смысл? Кирпичные стенки изо дня в день. Тут же какое терпение-то нужно, а? Да и того не хватит... А он меня бросил, через год как приехали, сказал — надо на Западное побережье перебираться, климат, пальмы, на разведку, говорит, поеду. Разведчик... Да мне это трын-трава, от вас, мужиков, проку все одно — ноль, с глаз долой — из сердца вон, вот так вот, уважаемый доктор.

«Доктор» ухмылялся, жмурясь потирал руки, изредка от удовольствия привставал на цыпочки. Он сочувственно кивал, покусывая нижнюю губу, чтоб не рассмеяться; старуха вошла в раж, и представление было хоть куда. «А вдруг в коробке драгоценности, сложила и в ломбард тащит? — Когана даже пот прошиб от этой догадки. — Точно! Ох ты, господи бога твою мать, вот ведь фарт какой!»

— Носил тут один пирожные, — она хохотнула коротко и хрипло, — любовничек, ну да, ну да, из Житомира, начинал «будьте так любезны, если вас не затруднит», а после оказался мазохист. Представляете? Я его линейкой по заднице лущую, аж до синяков — а он только рад, все пирожные носит. Миндальные. А я обожаю миндальные, знаете, с такой хрустящей корочкой, рассыпчатые, во рту так и тают. Я ему говорю: Семен, ты что ж носки-то не снимаешь, — а он, дурак, улыбается, весь излущованный, как тигр полосатый, а в Житомире секретарем каким-то был, по профсоюзной линии, что ли. Ну, да вам, докторам, и не про такое доводилось слышать, я думаю, да... Уморительные случаи бывают...

Агнесса Васильевна будто выдохлась — последняя фраза растянулась и повисла, словно наконец-то разматывавшаяся пружина.

— Рак легких, — устало и тихо произнесла она, — просто сгорел за три месяца — Семен, — я ревела, ревела... Вы думаете по нему, по Семену? По себе!

С набережной донеслось нетрезвое пение.

Коган покашлял в кулак и фальшивым баритоном бодро спросил, про себя прикидывая как бы завладеть коробкой:

— Обрисуйте вашу сексуальную жизнь на текущий момент. Как доктор я постараюсь оказать посильную... э-э-э, советом и так сказать рекомендацией. Тут стесняться нечего — это мой долг, клятва Гиппократы и все такое.

Он покрутил головой, осмотрелся. Безлюдно, на набережной пара пьяниц, да и те далеко, не увидят: «А что, дать по рогам, и вся недолга, чего тут канитель разводить».

До Агнессы Васильевны вдруг дошло, внезапно — как озарение: какой к черту доктор! Просто издевается мерзавец, вот ведь какая сволочь! Но даже и не это было важно (важно? — страшно!), а то, что она видела это лицо, видела раньше, видела там — на рельсах, серое с розовой пеной у рта. Редкие зубы и жуткие белые глаза. Как сказал тот военный? Зарезали! Неожиданное открытие обрадовало ее — согласитесь, было бы странно ожидать от этого мира чего-то еще — даже на прощанье — по крайней мере, теперь все встало на свои места. Теперь все логично: вот и шута подослали напоследок, под занавес! Липовый доктор продолжал скалиться, щурясь глазами и щеря мелкие зубы, но тут по его лицу пробежала легкая рябь, как по воде; Агнесса Васильевна догадалась, ага — те же глупые шутки — и не надоест им, вот ведь навязались на мою бедную голову!

Рябь прошла сильной волной и по небу, вздыбила и пляж, и плоский городской пейзаж за ним: трубы и антенны выгнулись, чертовое колесо в парке сплющилось в эллипс (проекция окружности под углом), — верхние кабинки, раскачиваясь, беспечно ловили оранжевый луч почти закатившегося за темно-лиловые дома солнца.

Агнессу Васильевну тоже качнуло — чертов песок словно кто-то выдернул из под ног, — чтобы не свалиться, она ступила назад и оперлась на палку. Трость сочно вошла в мокрый песок.

Агнесса Васильевна хотела остановить это всеобщее кружение, пытаясь сосредоточить взгляд хоть на чем-то устойчивом, не выгибающемся и не колеблющемся.

Тщетно.

Мерзкий доктор приблизившись, протянул руку к коробке и скорчил рожу, чайки, хохоча, выделяли жуткие сальто-мортале, небо подернулось тонким узором мутной пелены — словно пеной, живые прозрачные пятна быстро побежали по воде к упругой и гибкой, как хлыст, линии горизонта. Она закрыла глаза — там было не лучше: пьяная круговерть пестрых цветов — маки и нарциссы, изредка васильки. А ведь василек — в непонятном сентиментальном восторге подумала она, — ведь это же самый русский цветок!

Агнесса Васильевна глубоко вдохнула, задержала дыхание и вдруг ощутила внезапный прилив невероятной энергии — словно чугунные цепи пали. Тоска сладко наполнила ее гибкое страстное тело, такое молодое и сильное. Обтянутые тугим черным бархатом бедра, разворот — это уже почти танго! — острый змеиный взгляд. Жуткие глаза, прозрачные, зеленые, обведены черными линиями — декаданс, эстетическое кощунство, — Агнесса Васильевна крепко сжав рукоять трости, нащупала кнопку и, выгнув талию, вонзила клинок в горло Когана.

Коган выпучил глаза и застыл. Неубедительно охнув, он сделал шаг назад, оступился и, вяло взмахнув руками, упал. Агнесса Васильевна повернулась на каблуках, усилием воли собрала воедино рассыпающийся пейзаж — очень мешали чайки. Небо к этому времени уже погасло и потемнело, включили и пробную звезду.

11

Ну вот, подумала она, похоже, что этот день все-таки подошел к концу. Агнесса Васильевна прижала к груди коробку и шагнула в воду. Мелкая волна робко облизнула ботинки, следующая, посмелей, проникла внутрь. Это лишь сперва очень холодно, успокаивала она себя, после уже все равно. Дно пологое, чуть волнистое, как стиральная доска, плавно уходило под уклон. Траурная скука платья, наливаясь океанской тяжестью, сначала тянула вниз, а когда вода дошла до подбородка, эта тяжесть вдруг исчезла и сменилась неторопливой плавностью. Будто во сне, когда все так тягуче медлительно и неспешно. Ей почудилось, что она растворяется, сама становится частью океана. Она хотела обернуться напоследок, но ей стало лень — чего она там не видела? Зажмурясь, она с головой погрузилась в воду. А когда вновь открыла глаза, уже под водой, то не увидела уже ничего — очевидно, кто-то, наблюдавший сверху за всем происходящим, заскучав, выключил свет. Оно и понятно — скука, усмехнулась Агнесса Васильевна, кустарная мелодрама, драмкружок. Однако, приглядевшись к темно-сизой толще воды, в мутной туманной глубине она различила округлые серые холмы и впалые долины, бескрайние донные ландшафты, по большей части мрачных изумрудных тонов, по которым без-

звучно скользили гигантские тени — вероятно, левиафаны. Самих исполинов не было видно, но движение их мощных тел безошибочно угадывалось кожей, Агнесса Васильевна ощущала нежную вибрацию. Ища, чем бы занять себя, она слегка оттолкнулась — едва-едва — и плавно поплыла. Слово «парить» само пришло на ум — она улыбнулась, — видать, понапрасну тревожилась, все оказалось не так уж безнадежно. Одной рукой прижимая отяжелевшую коробку, другой она распустила пучок — волосы ленивыми волнами потекли назад. После она вытянула свободную руку, разрезая неповоротливую воду энергичным жестом ладони и словно указывая на восток, потекла в сторону предполагаемого восхода.

Да, все и вправду не так уж безнадежно.

12

На берегу поспешно темнело. Коган лежал навзничь на мокром песке. Лежал в полосе прибоя, широко раскинув удивленные руки и подставив бледные ладони слабым, едва различимым, новорожденным звездам. Солнце, скорее всего, уже зашло: здесь, на восточном побережье оно садится, увы, не в океан, — это вам не знаменитые калифорнийские закаты с неукротимой феерией сумасшедших цветов — от золотисто-лимонного до пурпурно-красавового. Нет, тут закат проще и скромней: солнце незатейливо заваливается за щербатый силуэт города: посиневшие дома, уныло утыканные антеннами, чахлые верхушки тополей, фонарные столбы — все сливается воедино. Пепельно-розовое небо перечеркивается провисшими проводами и слепым шумом от метания то ли летучих мышей, то ли вечерних ласточек. Еще минута, другая — воздух уже свеж и чуть сыроват, сумерки выползают из густых теней и оседают, как тяжелый дым. Небо неумолимо тускнеет, темнеет и умирает. Вот, собственно, и весь здешний закат.

13

Пегий пес, пропетляв по одному лишь ему ведомому маршруту, пересек пляж от дощатой набережной до океана и оста-

новился у Когана. Пугливо и недоверчиво, с осторожностью бездомной собаки (разве ж можно кому-нибудь сегодня доверять?) обнюхал тело. Убедившись в относительной своей безопасности, забавно фыркнув или чихнув, пегий упер передние лапы Когану в грудь, присел и замер. Не очень громко, словно пробуя голос, он заскулил. Звук получился неважный, больше похожий на скрип. Пес, ступевался и замолчал. После зевнул со вкусом, помотав мохнатой мордой, принялся разглядывать лиловое небо. Нашел в верхнем правом углу молодой месяц, сосредоточился, завыл снова. На сей раз звук удался — задумчиво-протяжный вой тоскливо поплыл над черной водой в сторону уже едва различимого в сумерках горизонта — воображаемой линии, отделяющей небо от океана.

